В.М. Гуминский

Гоголь о любви и браке

Гоголевские герои, как и полагается литературным героям, то и дело влюбляются, собираются жениться, а иногда даже и женятся. Действительно, "вот как начнешь эдак один на досуге подумывать, так видишь, что наконец точно нужно жениться. Что, в самом деле? Живешь, живешь, да такая наконец скверность становится" (V, 9). Подколесин вроде бы прав - единственный выход из житейской скверности - женитьба.

Проблеме "женитьбы" посвящена Гоголем, как известно, целая пьеса, открывающаяся именно этим монологом. Хотя, конечно, в пьесе она так и остается неразрешенной проблемой: прыжок Подколесина - это прыжок в неизвестное, несмотря даже на окончательный приговор Феклы: "Еще если бы в двери выбежал - ино дело, а уж коли жених да шмыгнул в окно - уж тут просто мое почтение" (V, 61). Впрочем, поступок Подколесина, кажется, мог до конца понять только Иван Федорович Шпонька, перед которым, как известно, встала та же проблема: "Правда, Марья Григорьевна очень недурная барышня; но жениться!.. это казалось ему так странно, так чудно, что он никак не мог подумать без страха. Жить с женою!.. непонятно! Он не один будет в своей комнате, но их должно быть везде двое!.. Пот проступал у него на лице, по мере того чем более углублялся он в размышление" (I, 306-307). Но и дальнейшая судьба столь глубоко проанализировавшего проблему женитьбы Ивана Федоровича остается нам в принципе неизвестной.

Что уж тут говорить про любвеобильного Ивана Александровича Хлестакова с его призывом "удалиться под сень струй", обращенном как к маменьке (ведь "для любви нет различия; и Карамзин сказал: "Законы осуждают"), так и к дочке! Но разве не странно, что и в том, и в другом случае этот вертопрах толкует о какой-то "*постоянной* (курсив наш. - *В.Г.*) любви". Однако и Иван

Александрович, сделав по всем правилам предложение и даже получив благословение на брак от Антона Антоновича Сквозник-Дмухановского, пусть и несколько двусмысленное: "Да благословит вас Бог, а я не виноват", - отбывает в неизвестном направлении. Разумеется, его слова о богатом дядюшке никого не могут ввести в заблуждение.

Надо признать, что некоторые гоголевские романтические герои умеют любить страстно и безоглядно. В повести "Ночь перед Рождеством" Вакула говорит Оксане: "Что мне до матери? Ты у меня мать и отец и все, что ни есть дорогого на свете" (I, 209). Ему вторит Андрий в "Тарасе Бульбе", обращающийся к возлюбленной с такими же словами: "А что мне отец, товарищи и отчизна?.. Отчизна моя - ты!.. И, все что ни есть, продам, отдам, погублю за такую отчизну!" (II, 106). "Безоглядно" в данном контексте означает: "без оглядки на все, в том числе и на женитьбу". И здесь не так уж и важно, что все усилия Вакулы увенчались счастливым браком с Оксаной, а Андрий так и не дожил до свадьбы с прекрасной панночкой. Главное - в силе самого чувства, ради которого герой готов пожертвовать всем.

Собственно, в гоголевском мире женятся не так уж и часто. Первый из гоголевских героев Ганц Кюхельгартен возвращается домой после долгих странствий. Он уже оставил навек свои "коварные мечты" и, наконец, осознал, что, не имея "в душе железной воли", способной противостоять суетности большого света, следует "семьей довольствоваться скромной" и наградить за верность идеальную Луизу. Однако в шумную картину счастливого свадебного пира врывается ("Как непонятен человек!") нотка "невыразимой тоски" героя, грустящего о былом, о расставании с мечтами, с товарищами юности. И не та же ли тоска отзовется в описании другого свадебного пира, завершающего веселую чертовщину "Сорочинской ярмарки". Здесь, где "все неслось, все танцевало", появляются старушки, "на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы". Но

и они "даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому", "тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету" (I, 135-136). И не этих ли старушек, да вспомнив и об их как будто столь же бесчувственных стариках, еще раз призовет Гоголь в свой мир, когда будет рассказывать нам историю "постоянной", противостоящей времени любви старосветских помещиков.

Но Гоголь безусловно знал и о другой любви и не уставал говорить о ней своим читателям. Как тут не вспомнить знаменитый призыв из "Мертвых душ": "Полюби нас черненькими, а беленькими нас всякий полюбит". Неслучайно именно на эту гоголевскую формулу христианской любви ссылается в своей беседе "О таинстве брака" митрополит Сурожский Антоний. О небесной любви рассуждает писатель в последней главе "Выбранных мест из переписки с друзьями" - "Светлое воскресенье", а в другом знаменитом своем произведении - "Размышлении о Божественной Литургии" провозглашает ту единственную любовь, которая помогает преодолевать "ненавистную рознь мира сего": "И если общество еще не совершенно распалось, если люди не дышат полною, непримиримою ненавистью между собою, то сокровенная причина тому есть Божественная Литургия, напоминающая человеку о святой, небесной любви к брату. А потому кто хочет укрепиться в любви, должен, сколько можно чаще, присутствовать, со страхом, верою и любовию, при Священной Трапезе Любви" [1].

Такова любовь в гоголевском мире, создатель которого описал, наверное, все или почти все измерения этого чувства. В данном случае речь пойдет лишь об одном из них - наверное, самом знакомом и привычном. И тут прав оказывается Второй любитель искусств из "Театрального разъезда" с его рассуждением о том, что "люди простодушно привыкли уж к этим беспрестанным любовникам, без

женитьбы которых никак не может закончиться пьеса". Но что же происходит после этого счастливого финала?

Литература, по сути дела, прошла мимо изображения счастливой семейной жизни. А.П. Платонов заметил: "Образа семьянина, художественно равноценного Дон-Жуану, не существует в мировой литературе. Однако же образ семьянина более присущ и известен человечеству, чем образ Дон-Жуана" [2]. Это наблюдение можно распространить и на фольклор (ср. с традиционно лаконичной "послесвадебной" концовкой русских народных сказок: "Стали они жить-поживать да добра наживать"). Нужно ли добавлять, что некоторые ранние гоголевские произведения (например, "Ночь перед Рождеством") прямо следуют здесь сказочной схеме. Весьма характерен пример со Львом Толстым. В конце 1850-х гг. писатель работал над романом, который так и назвал - "Семейное счастье". Однако этой истории о далеко не простых и уж совсем не безмятежных отношениях внутри молодой семьи, когда героиня (от ее лица ведется повествование) испытывала к мужу не только любовь, но и ненависть, вряд ли подходило название, данное автором. Знаменательно, что сама героиня, определив прошедший период жизни как "роман с мужем" и заявив о "начале уже совершенно иначе счастливой жизни", рассказывать о ней не стала [3].

Собственно свой литературный и жизненный "семейный" опыт Толстой обобщил в знаменитой фразе, открывающей "Анну Каренину": "Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Отсюда же, по существу, следовало, что литературный интерес может вызывать только оригинальность "несчастливой семьи", оставляя тривиальное семейное счастье скучной повседневности. Подтверждением такого умозаключения и служила почти вся история мировой литературы. Ведь она основывалась либо на "сказочной" схеме "любви до брака" (Гоголь) со счастливым "свадебным"

финалом, либо - при изображении семейной жизни - на адюльтере, любовном треугольнике.

Редким примером изображения "сильной, продолжительной любви" (Гоголь), семейного счастья в мировой литературе является образ благочестивой фригийской четы Филемона и Бавкиды из "Метаморфоз" Овидия. Гостеприимные старики, в отличие от нерадушных соседей, приютили в своем бедном доме странствующих Юпитера с Меркурием. За это небожители наградили их (а соседей покарали потопом) долгой и счастливой жизнью как ни в чем не нуждающихся жрецов храма Юпитера и смертью в один день с последующим превращением в два зеленых древа, растущих от единого корня.

Некоторые эпизоды истории Филемона и Бавкиды, например, их "преображение" из бедной и скромной четы в "изорванных одеждах" в жрецов великолепного храма, Гоголь мог с детства знать по "живым картинам", представлявшимся в соседних имениях в честь высоких гостей, о чем вспоминала в одном из своих писем М.И. Гоголь. Во всяком случае, описывая в "Старосветских помещиках" Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну, автор отметил: "Если бы я был живописец и хотел изобразить на полотне Филемона и Бавкиду, я бы никогда не избрал другого оригинала, кроме их" (II, 15). Современные исследователи усматривают целый ряд знаменательных перекличек между классическим образом идеальной семейной пары и героями гоголевской повести, свидетельствующих о живой, сохранившейся на века памяти идиллической традиции. Но во второй части "Фауста" Гете предложил совершенно иной, трагический вариант судьбы античных героев. Они появились на страницах этого произведения под собственными именами, остались столь же идилличными, благочестивыми и гостеприимными стариками, но стали смотрителями маяка и церкви при нем. Спасая странствующих по морским хлябям, Филемон и Бавкида и не думают, что колокольный звон раздражает

Фауста, охваченного преобразовательной лихорадкой и мечтающего переселить стариков, завладеть их землей и выстроить там каланчу с бельведером. Мефистофель, разделяя ненависть своего патрона к колокольному звону и выполняя приказ о выселении, сжигает лачугу с ее обитателями, убивает и гостя - странника, прибывшего к старикам с благодарностью за спасение. Так приносится строительная жертва во имя осуществления утопии Фауста. По мнению некоторых исследователей, рассказывая историю Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, Гоголь мог учитывать и интерпретацию судьбы Филемона и Бавкиды автором "Фауста" (отсюда появление в повести наследника-реформатора и т.д.), во всяком случае, очевидна актуализация этого образа в европейской литературной традиции, прямо предшествующей созданию "Старосветских помещиков".

История замысла повести, вероятно, прямо связана с одним из главных сюжетов переписки Гоголя и его друга А.С. Данилевского в течение почти всего 1832 г.: обсуждением поэтической и прозаической стороны женского идеала, любви до и после брака и т.д. "Прекрасна, пламенна, томительна и ничем не изъяснима любовь до брака, - пишет Гоголь в одном из писем, - но тот только показал одну попытку к любви, кто любил до брака. Эта любовь не полна; она только начало, мгновенный, но зато сильный и свирепый энтузиазм, потрясающий надолго весь организм человека" (X, 227). Идеальная "любовь до брака" ни в коем случае не отвергается: она должна присутствовать в жизни, облагораживать ее, составлять ее поэзию, что подтверждается творческой практикой, например, романтиков (отчасти и самого Гоголя в "Вечерах на хуторе близ Диканьки"). Но она явно ограниченна (в первую очередь, во временном плане): "страстная", "томительная" "любовь до брака", как правило, не имеет продолжения ("она только начало, мгновенный энтузиазм") - романтический культ неразделенной любви его просто не предусматривает, при благоприятном стечении

обстоятельств, конечно, возможен счастливый финал любовной страсти, но это именно и всего лишь финал (свадьба) без какого-либо движения вперед.

В письме от 30 марта 1832 г. явное предпочтение отдается супружеской жизни ("любви после брака"). Парадоксальность ситуации (холостяк Гоголь проповедует неженатому Данилевскому достоинства "любви после брака") писателя не останавливает: отсутствие личного жизненного опыта искупается убежденностью в собственной правоте и ссылкой на литературные авторитеты. "Но вторая часть, или лучше сказать самая книга - потому что первая только предуведомление к ней - спокойна и целое море тихих наслаждений, которых с каждым днем открывается более и более, и тем с большим наслаждением изумляешься им, что они казались совершенно незаметными и обыкновенными. Это художник, влюбленный в произведенье великого мастера, с которого он уже никогда не отрывает глаз своих и каждый день открывает в нем новые и новые очаровательные и полные обширного гения черты, изумляясь сам себе, что он не мог их увидать прежде" (X, 227).

Такая достаточно необычная для романтика апология семейной жизни представляет собой как бы предварительный эскиз картины "незаметного и обыкновенного" семейного счастья Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны Товстогубов. Сохранится в повести и заявленное в письме противопоставление "любви до брака" - "любви после брака". Первая получит свое воплощение во вставной истории или романтической новелле о страстно влюбленном безымянном юноше с ее разоблачительным, антиромантическим эпилогом (см. об этом ниже), вторая станет "самоей книгой", повествующей о "спокойной и уединенной жизни" старосветских помещиков после свадьбы.

Гоголь подкрепляет свое рассуждение литературными параллелями. По его мнению, "любовь до брака - стихи Языкова: они эффектны, огненны и с первого раза уже овладевают всеми чувствами. Но после брака любовь - поэзия Пушкина:

она не вдруг обхватит нас, но чем более вглядываешься в нее, тем она более открывается, развертывается и наконец превращается в величавый и обширный океан, в который чем более вглядываешься, тем он кажется необъятнее, и тогда самые стихи Языкова кажутся только частию, небольшою рекою, впадающею в этот океан". Для объяснения могут пригодиться и примеры из собственного творчества. "Ты, я думаю, - обращается писатель к Данилевскому, - уже прочел Ивана Федоровича Шпоньку. Он до брака удивительно как похож на стихи Языкова, между тем, как после брака сделается совершенно поэзией Пушкина" (X, 227-228).

Шутливый тон этого обескураживающего заявления не должен вводить в заблуждение, так же как и явно "отрицательное" сравнение кроткого Ивана Федоровича с "огненной" поэзией Языкова (Гоголь уже пользовался подобным приемом, сравнивая, например, заведомо несовместимых Булгарина и Байрона в письме к Пушкину 21 августа 1831 г.). Суть гоголевского указания заслуживает серьезного внимания, ведь как бы ни относиться к незаконченности "Ивана Федоровича Шпоньки", сам писатель пусть явно иронически, но "продолжает" биографию своего героя "после брака", на что наталкивал читателя и подчеркнуто открытый для такого рода предположений финал повести, да и ее интригующее вступление.

Современные исследователи датируют время работы над "Иваном Федоровичем Шпонькой" летом 1831 г., когда с конца июня до середины августа Гоголь жил в Павловске, а по соседству, в Царском Селе, жили Пушкин и Жуковский. Этот период "отказа от культа романтической исключительности в пользу прозаического взгляда на жизнь и права человека на обыкновенное простое счастье" был весьма важен для Пушкина не только в творчестве, но и личной жизни. Говоря о последней, биографы подчеркивают значение сватовства

и женитьбы Пушкина, а также первого года супружества, когда поэт занимался активным жизнестроительством своей молодой семьи.

По свидетельству самого Гоголя, летом 1831 г. он "почти каждый вечер" встречался с Пушкиным и Жуковским, по всей видимости, чаще в доме у первого - Жуковский квартировал в Александровском дворце. Едва ли можно предположить, что Гоголь часто наблюдал семейный быт своего литературного кумира, но нельзя исключить того, что и при редких посещениях жизнь четы Пушкиных могла произвести на молодого писателя определенное впечатление. Впрочем, если верить воспоминаниям К. Брюллова, правда, относящимся к гораздо более позднему времени, после знакомства с поэтом в начале мая 1836 г. (в данном случае хронология принципиальной роли не играет), Пушкин был порой не прочь продемонстрировать идиллическую картину своего семейного счастья даже перед не очень близкими людьми. На Брюллова, к слову сказать, такая доверчивая открытость произвела обратный эффект: художник-романтик, убежденный в невозможности искренней "любви после брака", счел увиденную сцену "натянутой" [4].

Обобщая разнообразные свидетельства о пушкинской семейной жизни, Лотман отметил: "В III главе "Евгения Онегина" Онегин иронически характеризует Ленскому семейство Лариных словами "простая русская семья". Сейчас Пушкин сходными словами мог бы охарактеризовать свой идеал семейной жизни" [5].

Но это ценное указание на связь пушкинской "прозы жизни" с его поэзией и на возможность преображения иронического и чуть ли не сатирического образа в собственный идеал отсылает к описанию картины семейной жизни в III главе "Евгения Онегина" (1827), во многом напоминающей образ существования будущих "старосветских помещиков". И не только явно близкими чертами своего уклада ("…К гостям усердие большое, / Варенье, вечный разговор / Про дождь,

про лень, про скотный двор…") - хотя и этого нельзя не заметить. Белинский в своем отзыве о "Старосветских помещиках" сразу же обратил внимание на связь между рассуждениями рассказчика о любви-привычке Афанасия Ивановича, оказавшейся много долговечнее любви-страсти безымянного юноши из вставной новеллы, и пушкинской сентенцией о семейной жизни в романе "Евгений Онегин": "Привычка свыше нам дана: / Замена счастию она" (гл. II, строфа XXXI).

Разумеется, речь не идет о том, чтобы представить литературное семейство Лариных или - тем более! - реальную семью Пушкиных в качестве прототипов Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны Товстогубов. Можно говорить лишь об определенной близости понимания Пушкиным и Гоголем в тот период семейного счастья, "любви после брака" и о возможном влиянии "теории" и "практики" пушкинской семейной жизни на решение этой проблемы в "Старосветских помещиках". Поставлена же она в повести в рамках традиционной романтической оппозиции: "поэзия и проза", "необыкновенное и обыкновенное" в жизни, приобретя здесь характер противопоставления "любви-страсти" и "любви-привычки".

Именно пушкинский переход к изображению "более спокойного и гораздо менее исполненного страстей быта русского", предпочтение "необыкновенному обыкновенного" подчеркивал и приветствовал Гоголь в статье "Несколько слов о Пушкине". Вывод, сделанный им в результате анализа творческой эволюции поэта, явно распространялся и на собственную писательскую практику: "Чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновен-ное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина" (VIII, 54).

Собственно романтическое противопоставление "необыкновенного обыкновенному" в этом рассуждении снимается: самая обыкновенная жизнь заключает в себе необыкновенные ценности, и задача писателя в том и состоит,

чтобы "извлечь" их (ср. с тем, что писал Гоголь Данилевскому 30 марта 1832 г. о "незаметных и обыкновенных" наслаждениях "любви после брака" и в связи с этим о "художнике", открывающем "новые и новые" черты в "произведеньи великого мастера").

Пушкинский отказ от культа романтической исключительности проходил под знаком двух излюбленных поэтом афоризмов из повести Ф. Шатобриана "Рене, или Следствия страстей" (1802; рус. пер. 1827), с которой Гоголь, в свою очередь, познакомился, скорее всего, еще в гимназические годы: "Счастье лежит лишь на общем для всех пути"; "Если бы я еще верил существованию счастья, то искал бы его в привычке" (на вторую из этих сентенций на языке оригинала Пушкин ссылался в примечании к строкам о привычке из "Евгения Онегина"). Поэт неоднократно цитировал эти афоризмы в начале 1830-х гг. в своих произведениях, частной переписке, альбомных записях, в том числе и в связи с собственной судьбой. Так, он писал 5 апреля 1830 г. своей будущей теще Н.И. Гончаровой из Москвы: "Только привычка и длительная близость могли бы помочь мне заслужить расположение вашей дочери" (оригинал на фр. яз.) [6]. Эти афоризмы отражали общее изменение умонастроения поэта в то время: "необыкновенное" счастье, в представлении Пушкина, на земле невозможно ("На свете счастья нет…" – пишет он в 1834 г.), достижимо лишь счастье "обыкновенное" на путях "общих для всех", точнее, его замены: "покой и воля", "привычка" и т.п.

И Гоголь явно наследует Пушкину, ведь именно как привычку определяет рассказчик "Старосветских помещиков" чувство, которое заставило Афанасия Ивановича с любовью вспоминать свою подругу и спустя годы, прошедшие после смерти Пульхерии Ивановны. "Боже! - думал я, глядя на него, - пять лет всеистребляющего времени - старик уже бесчувственный, старик, которого жизнь, казалось, ни разу не возмущало ни одно сильное ощущение души, которого вся

жизнь, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из ядения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, - и такая долгая, такая жаркая печаль!.. Или все сильные порывы, весь вихорь наших желаний и кипящих страстей - есть только следствие нашего яркого возраста и только по тому одному кажутся глубоки и сокрушительны?" (II, 36).

Мысль о том, что "пылкость душ", а следовательно, и способность к переменам, к нравственному совершенствованию присущи только юному ("яркому") возрасту, но со временем исчезают и в старости невозможны, восходит к антропологическим построениям французских просветителей. В их трудах можно прочитать: "У стариков уже нет возможности избавиться от своих недостатков; их сетования тщетны. Нежная юность - единственный возраст, когда человек еще имеет все для того, чтобы исправиться" [7]. На основании этого сходства исследователи обычно делают следующий вывод: "Поэтому так страшна у Гоголя "бесчеловечная старость" [8]. Однако, несмотря на то, что писатель неоднократно варьировал эту мысль в своих произведениях (ср. образ пляшущих старушек в финале "Сорочинской ярмарки", рассуждение о "мертвящей остылости чувств" в "Ночах на вилле" и т.п.), именно против нее он выступил в "Выбранных местах из переписки с друзьями". В третьем письме "по поводу "Мертвых душ" Гоголь писал: "И это вздор, что выпустили глупые светские умники, будто человеку только и возможно воспитать себя, покуда он в школе, а после уж и черты нельзя изменить в себе: только в глупой светской башке могла образоваться такая глупая мысль" (VIII, 296). Но, как бы то ни было, на вопрос: "Что же сильнее над нами: страсть или привычка?" - в "Старосветских помещиках" дан вполне определенный ответ: "В это время мне казались детскими все наши страсти против этой долгой, медленной, почти бесчувственной привычки" (II, 36).

Вынеся на суд читателя два параллельных жизнеописания - развернутое, художественно полноценное старосветских помещиков, любящих друг друга "по привычке", и конспективно краткое, иллюстративно схематичное страстно влюбленного юноши из вставной новеллы, - Гоголь проводит своих героев через испытание временем и смертью любимых. Критерий оценки истинности чувства в обоих случаях один - его стойкость, неподвластность переменам. Сопоставление "привычки" и "страсти" проводится вполне серьезно. Более того, сами эти понятия (и "жизнеописания", с ними связанные) явно стремятся перерасти условные литературные рамки и приобрести жизненный, бытовой характер (по крайней мере, во всем, что касается столь "нелитературной" темы, как описание счастливой семейной жизни "по привычке"), хотя и остаются в пределах идиллической традиции.

Шиллеровская трактовка идиллии в статье "О наивной и сентиментальной поэзии" не раз привлекала внимание исследователей "Старосветских помещиков". Однако не меньший интерес в связи с той же проблемой представляет интерпретация образа библейского рая в статье Ф. Шиллера "Нечто о первом человеческом обществе по данным Моисеева Пятикнижия" (1792).

В этой статье немецкий поэт настаивает на "низменных" и даже "животных" чертах "счастливейшей" первобытной жизни. У прародителей не было свободы "действий и поступков" и "следовательно, нравственности", но если бы "Провидение остановило" человека во времени, то "в сладостном покое протекала бы его жизнь, и круг, в котором бы он неизменно вращался, был бы предельно тесен: от желания к наслаждению, от наслаждения к покою и от покоя снова к наслаждению" [9].

Конечно, далеко не христианская характеристика райской жизни в "границах, положенных миру животных", скорее всего, идет у Шиллера от Руссо, а, может быть, и от Шекспира (ср. в монологе Гамлета: "Что человек, когда он

занят только / Сном и едой! Животное, не больше". - Д. IV, явл. 4), но то, что "райская жизнь" Адама и Евы, по Шиллеру, напоминает "тесный круг существования" старосветских помещиков - очевидно. Однако, если "растительно-животная" жизнь Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны - "рай" (так ее характеризуют многие исследователи), то его обитатели оказались как раз в том положении, о котором предупреждал первоисточник шиллеровской статьи: "Когда будешь есть и насыщаться, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего" (Втор 8: 12-14; 6, 12; 31, 20; 32,15). Об этом же Гоголь писал родным 3 апреля 1849 г. из Москвы: "Довольство во всем нам вредит… Заплывет телом душа - и Бог будет позабыт" (XIV, 115). Хотя позднее, в письме от 4 марта 1851 г., он напомнил родным о том, что "собственная земля" производит "достаточно для того, чтобы не только наесться, но даже и *объесться*", и призвал в связи с наступившим Великим постом не забывать "Святое слово" (XIV, 224).

Идиллический мир старосветских помещиков - это своего рода заведомо обреченная на провал попытка "возвращения" земного рая, Эдема: "сокращенным Эдемом" называл украинские селения гоголевский гимназический учитель И.Г. Кулжинский в своей книге "Малороссийская деревня" (М., 1827). Как и положено, земной рай "загражден и замкнут", у врат Эдема после изгнания Адама и Евы из рая был поставлен херувим с огненным мечом (Быт 3:24). Старосветский мир вполне включается в традицию "освящения вещественного, телесного начала", которая, по мнению С.С. Аверинцева, связывалась с образом "земного рая" для "христианства (особенно сирийского, византийского и русского)" [10]. Мотив "целящих или утешающих плодов, занесенных из рая", отразившийся в многочисленных легендах, перекликается в "Старосветских помещиках" с "перечетом" Пульхерией Ивановной "целебных свойств" "аптеки" из наливок и настоек, которыми она была всегда готова пользовать обитателей и гостей своего

дома. Сад старосветских помещиков, где одновременно плодоносят вишни, сливы, цветет черемуха и сушатся яблоки (ср. с "райским" пейзажем в стихотворении М. Лермонтова "Когда волнуется желтеющая нива" 1837 г., где созревающие колосья и "малиновая слива" присутствуют рядом с весенним "ландышем серебристым"), напоминает "райские сады" легенд о "блаженных землях", где все произрастает всегда и само собой "во изобилии", отразившиеся и в книжной утопической традиции.

Но по своему национальному колориту "райское" существование старосветских помещиков естественно ближе всего к изображению "райского изобилия" в "Энеиде" И. Котляревского, которую Гоголь знал с детства. В одном из набросков к статье "Взгляд на составление Малороссии", не вошедшем в окончательный текст, Гоголь дал "кулинарную" характеристику первоначальной жизни малороссийского народа: "Все, что до наслажденья относилось, все это имел народ. Он в этом не отказывал себе никогда. Разнообразие разных блюд, совершенно отличных в разные времена года, в разных случаях" (VIII, 600).

Возможно, с "райской" жизнью старосветских помещиков (Эдем до грехопадения) связана их бездетность, хотя тут явно присутствует и овидиевская традиция изображения "благодатной четы", в которой Вл. Соловьев увидел высокий смысл, присущий многолетней и счастливой любви: "Верное поэтическое чутье действительности заставило и Овидия, и Гоголя лишить потомства Филемона и Бавкиду, Афанасия Ивановича и Пульхерию Ивановну" [11]. Здесь, наверное, будет уместен краткий исторический комментарий. Древние христианские писатели (Мефодий Патарский, Евсевий Кесарийский и др.) полагали, что почти все дохристианское человечество видело смысл, главную цель брака в потомстве. Можно вспомнить, например, такой институт, как левират, существовавший у древних греков, индусов и евреев, суть которого состояла в том, что в случае бесплодия или даже смерти мужа законы

рекомендовали отцу или брату бесплодного или покойного взять его жену: потомство от такого "брака" считалось потомством мужа. Такая точка зрения повлияла и на христианских авторов, особенно на Западе. Ее, к примеру, защищал блж. Августин, утверждавший, что цель брака есть рождение детей, а там, где нет детей, нет и брака. Фома Аквинский также полагал, что наиболее существенным элементом брака является потомство, все же остальное - производно и второстепенно. Учение о деторождении как главной цели брака было признано в католичестве официально (см., например: Codex juris canonici. S. 1013).

Особенно впечатляющие примеры подобного отношения к браку можно найти у основателей протестантизма, уверенных в том, что слова "плодитесь и размножайтесь" (Быт 9:7) являются устанавливающей брак заповедью. Так, Карлштадт писал Лютеру: "Нечего попусту совеститься. Будем двоеженцами и троеженцами, будем иметь столько жен, сколько можем прокормить" [12]. Сам же Лютер советовал жене бесплодного мужа сойтись с его родственником или даже с посторонним человеком, а мужу слишком воздержанной жены - с другой женщиной или служанкой.

В восточной, святоотеческой традиции на первый план выступила идеальная, духовная сторона брака. Св. Иоанн Златоуст указывал: "Тот, кто не соединен узами брака, не представляет собой целого, а лишь половину. Мужчина и женщина не два человека, а один человек"; "Свойство любви таково, что любящий и любимый составляют не двух разделенных, а одного какого-то человека" [13]. Эта точка зрения нашла отражение во многих канонических памятниках православной церкви, например, в Модестиновском определении брака, где говорится о браке как о полном и всестороннем союзе супругов, но вообще не упоминается о потомстве. Православный богослов, профессор канонического права С.В. Троицкий естественно примыкал именно к этой традиции и полагал главную цель христианского брака в "достижении внеличного

единства и полноты бытия" (второстепенная - "размножение" - должна обязательно "координироваться" с главной) [14]. Вслед за Вл. Соловьевым он также сослался (в ряду прочих) и на пример гоголевских Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны. Ср. с тем, что записал 20 декабря 1940 г. в свой дневник М.М. Пришвин: "Одна любовь ограничена любовью к детям, как в природе, другая, усиливаясь, соединяется с вечностью, с Богом. В одной человеку необходимы дети, чтобы через них продолжаться, в другой дети не являются необходимостью: Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна были бездетны" [15].

К ряду "самых ярких образов" бездетной любви (Филемон и Бавкида, Тристан и Изольда, Данте и Беатриче, Ромео и Джульетта и др.), приведенному С. В. Троицким, необходимо добавить имена блгв. кн. Петра, в иночестве Давида, и кнг. Февронии, в иночестве Евфросиньи, Муромских чудотворцев (память 25 июня) - героев древнерусской "Повести о Петре и Февронии". Эта идеальная семейная пара, давно уже напоминающая исследователям Тристана и Изольду, дожила в любви и согласии до смерти в один день (подобно Филемону и Бавкиде) и является в русской литературе едва ли единственным (до Гоголя) примером многолетней чудесной "любви после брака".

Однако и в изображении любви старосветских помещиков Гоголь оставил некий "намек", если и не умаляющий высокий смысл всепобеждающего чувства Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны, то вносящий в его описание необходимую и достоверную бытовую "корректировку". Касается он бездетности старосветской четы и проходит в повести мельком (что, вероятно, и позволяло философам и писателям, трактующим об идеальной семейной жизни гоголевских героев, не замечать его). Ведь, сколь ни строго смотрела Пульхерия Ивановна за нравственностью своих дворовых "молодых и немолодых девушек", "не проходило нескольких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее девушек стан не делался гораздо полнее обыкновенного; тем более это казалось удивительно, что в

доме почти никого не было из холостых людей, выключая разве только комнатного мальчика, который ходил в сером полуфраке, с босыми ногами, и если не ел, то уж верно спал" (II, 18-19). Надо сказать, что Гоголь, вообще, был мастером на такие намеки. Вспомним о подобных взаимоотношениях «прекрасного человека» Ивана Ивановича Перепенко и его верной Гапки. Эти взаимоотношения вполне укладывались в формулу: «Детей у него (Ивана Ивановича. – *В.Г.*) не было. У Гапки есть дети и часто бегают по двору» (II, 224). Впрочем, как сказано в другой гоголевской повести, "кто что́ ни говори, а подобные происшествия бывают на свете; редко, но бывают" (III, 75).

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Цит. по изд.: Гоголь Н.В. Собр. соч. в 9 тт., т.6, М., 1994, с.372.
2. Платонов Андрей. Размышления читателя. М., 1980, с.155.
3. Толстой Л.Н. Собр. соч. в 22 тт., т.3, М., 1979, с.150.
4. См. об этом: Лотман Ю.М. Пушкин. СПб.. 1995, с.152.
5. Лотман Ю.М. Пушкин, с.153.
6. Пушкин А.С. Полн. собр. соч.
7. Dictionnaire de definitions morales et philosophiques: extrect analisè de l'Encyclopédie. Paris, 1818, s.303.
8. Смирнова Е.А. Гоголь и идея «естественного» человека в литературе XVIII века // XVIII век, сб.6: Эпоха классицизма. М.-Л., 1964, с.283.
9. Шиллер Ф. Собр. Соч. в 7 тт., т.5, М., 1957, с.503.
10. Аверинцев С. С. Рай // Мифы народов мира, т.2, М., 1982, с.364.
11. Соловьев Вл. Смысл любви // Соловьев В.С. Сочинения в 2 тт., т.2, М., 1988, с.498.
12. Цит. по: Троицкий С. Христианская философия брака. Paris, < б.г.>, с.37.
13. Св. Иоанн Златоуст. Беседы на послание к Колосянам, XII, 5; Mg. 62, 387; Беседы на I послание к Коринфянам, XXIII, 3; Mg. 61, 289.

14. Троицкий С. Христианская философия брака. Paris, <б.г.>, с.215.
15.Пришвин М. М. Собр. соч. в 8 тт., т.8, М., 1986, с.376.